

крайней мере, дважды: в роли издателя журнала «Освобождение» и автора сборника «Вехи». «Предательство» русской интеллигенции её известнейшими представителями вызвало мощный резонанс, а позднее — целый шлейф злобных подтруниваний. Колеров анализирует причины отказа Струве напечатать в «Русской мысли» роман А. Белого «Петербург», где в образе главного героя — профессора Аблеухова — выведен сам Струве. Белый показывал «ставрогинскую природу русского радикализма», затронув интимные стороны души мыслителя, в том числе способность личности самореализоваться в одних лишь «актах суждений» (с. 86—90). «Умная ненужность», которую А.И. Герцен находил у русских западников, составляла, похоже, тайный страх Петра Бернгардовича (с. 168).

На фоне этой «ненужности», ещё более обострившейся в эмиграции, возникает трагический сменовековский образ председателя восточного отдела ЦК кадетской партии Н.В. Устрялова. Колеров реконструировал политическую и интеллектуальную биографию основателя национал-большевизма, перекидывая мостик от национал-либерализма П.Б. Струве к «советскому патриотиз-

му» И.В. Сталина (с. 169—227). Основную историческую заслугу Устрялова исследователь видит в том, что позднее «наибольшая часть русской эмиграции вне СССР выступила против Гитлера, а после, в годы “холодной войны”, старшая русская политическая эмиграция, не переставая быть антикоммунистической, так и не дала своего имени и моральной санкции на проекты расчленения Исторической России» (с. 227).

В целом, «Археология русского политического идеализма» даёт любопытный срез искушений «социального идеализма», без учёта которых едва ли можно составить адекватное представление об этом направлении в русском либеральном движении начала XX в.

#### Примечание

<sup>1</sup> Колеров М.А. Не мир, но меч. Русская религиозно-философская печать от «Проблем идеализма» до «Вех». 1902—1909. СПб., 1996; Колеров М.А. Индустрия идей. Русские общественно-политические и религиозно-философские сборники. 1887—1947. М., 2000; Колеров М.А. Сборник «Проблемы идеализма» (1902): история и контекст. М., 2002; Колеров М.А. От марксизма к идеализму и церкви (1897—1927). Исследования, материалы, указатели. М., 2017; Колеров М.А. Тоталитаризм: русская программа для западной доктрины. М., 2018; Колеров М.А. Изнутри: Письма Бердяева, Булгакова, Новгородцева и Франка к Струве. Переписка Франка и Струве (1898—1905/1921—1925). М., 2018.

*Владимир Булдаков*

#### Непонятый сталинизм?\*

*Vladimir Buldakov*

*(Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences, Moscow)*

#### Misunderstood stalinism?

DOI: 10.31857/S086956870005108-9

Название книги М.А. Колерова, появившейся в издательстве его же имени, выглядит загадочно. Возника-

ет вопрос: неужели И.В. Сталин отказался от И.Г. Фихте в пользу Л.П. Берии? Что заставило автора прочертить

\* Колеров М.А. Сталин: от Фихте к Берия. Очерки по истории языка сталинского коммунизма. М.: Модест Колеров, 2017. 640 с.

немыслимую, казалось бы, траекторию от философа-идеалиста к сталинскому подручному? Или это шокирующий парадокс, призванный встряхнуть «ленивого» читателя? Ничуть не бывало! Оказывается, данные фигуры призваны олицетворить историческую протяжённость, глубину и масштабность замыслов и свершений «вождя».

Авторская мысль проста, как командирский приказ: «Сталин — родная и естественная часть западного Модерна, его продолжение». А чтобы убедить читателя в серьёзности своих намерений, Колеров напоминает, что он на протяжении почти трёх десятков лет изыскивал и штудировал массу изданий 1900—1940-х гг. И в этих поисках он был не одинок, а потому благодарит всех: «их имена, ты, Господи, веши» (с. 7—9). Затем Колеров вспоминает своих истинно православных предков по материнской линии, вышедших из крестьянских низов и переживших раскулачивание, войну, оккупацию, голод (о своём отце он почему-то умалчивает).

Спрашивается: к чему такой напор эмоций? Неужели только для того, чтобы никто не усомнился, что всё написано автором всерьёз? Впрочем, подобные экскурсы — материал для психоаналитика, а не для историка. Предисловие многозначительно подписано: 9 мая 2017 г. Кого же побеждает Колеров? Сомневаться не приходится: надоевших российских «бесов» замещает европейский Модерн. Однако автор при этом явно опасается оказаться в ряду обычных апологетов «вождя». Стилистика его книги — эксклюзив для немногих. Во введении, названном «Ландшафт истории и политического языка», представлена квинтэссенция замысла: «Исследователи слишком долго искали и находили в сталинском коммунизме частное, отдельное и локальное, революционное, присущее куль-

турной и государственной традиции России, что пора найти в сталинском коммунизме и общее, генетически связанное с европейским Просвещением и Модерном, их экспансией в мире». Сам автор убеждён, что «общего в эпохе Сталина явно больше, чем частного» (с. 19).

Известно, что история как наука несовершенна *sui generis*. Ей приходится изъясняться на «языке прошлого», облепленного со всех сторон нелепыми случайностями и маловразумительными неожиданностями, «мешающими» постижению неких метаисторических закономерностей. Вот и Колерову приходится исследовать «унаследованный и созданный мир, который открывался в сознании создателей сталинского коммунизма» (с. 11). Но это обычная работа историка. Однако автор уверяет, что для проникновения в метафизические глубины сталинизма требуется некая особая лексика, свободная от людских «несовершенств». И, как ему кажется, он нашёл соответствующий стиль и слог. Увы, если не обращать внимания на семантические блуждания, то в сухом остатке обнаружится кондовый язык *геополитики*, позволяющий отбросить всё «наносное», мешающее постижению «истинного» Сталина.

Замысел понятен. Но историк — это, по преимуществу, источниковед. Что же получится, если он откажется от привычных документальных рядов в угоду непомерным генерализациям? Каким предстанет сталинизм, если оторвать его от российских реалий?

Основное содержание книги представлено в трёх разделах-очерках. Первый звучит торжественно, как органная fuga: «Большой стиль Сталина: Gesamt Kunstwerk als Industriepalast» (совокупность творений искусства, воплощённая в образе индустриального дворца). Дух захватывает!

Да, образы и идеи способны путешествовать по миру, претерпевая удивительные трансформации. Однако contagiозный характер идей и причудливых образов обычно остаётся настолько непонятым позитивистам, что они готовы отрицать существование очевидных взаимозависимостей. Между тем уже к концу XIX в. сложилось общеевропейское ментальное пространство. А идеи, особенно революционные, словно ринулись на поиск почвы для воплощения. Их упорно притягивала неизжитая отсталость: иначе как объяснить вторжение марксизма в Россию, причём с помощью людей, далёких от пролетариата — в частности столь любимого Колеровым П.Б. Струве? Однако Колеров намеренно обходит любые разрушительные идеи того времени (вроде итальянского футуризма), концентрируясь на победоносных странствиях сугубо конструктивного Модерна по европейскому захолустью.

Автор полагает, что пониманию сути сталинизма помогут образ, символ, метафора. Об эстетической стороне сталинизма исследователи действительно умалчивали, хотя творческая воля к власти над обществом и природой изоморфна русскому и советскому авангарду (с. 37—38). Может и так, но в фигуре Сталина трудно разглядеть ницшеанско-модерное начало. Сталинизм, несмотря на внешнюю устремленность в будущее, изнутри архаичен<sup>1</sup> (исследователи неслучайно обманывались на его счёт).

Колеров упорно и дотошно перебирает европейские представления об обществе, якобы наиболее соответствующие искомому образу сталинизма. Всякая эпоха стремится оставить после себя впечатляющие культурные символы. Для европейского индустриализма это дворец-казарма, государство-фабрика, Великая Машина. Колеров двигается глубже, беря за

основу Вавилонскую башню. Однако она — символ *архаичной* империи, которая в сознании европейцев давно рухнула (что не случайно отразили художники позднего Возрождения; особенно впечатляет гравюра Корнелиса Антониса 1547 г.). А её величественный индустриальный ремейк, порождённый интернационалистским воображением В.Е. Татлина, оказался и вовсе не востребован. Какой зиккурат смог оставить сталинизм? На память приходят знаменитые московские высотки. Но они, как известно, пародировали «механистичные» небоскрёбы чикагской школы. Их «одухотворили» как смогли, надстроив острыми, словно снятыми с православных колоколен, шпилями.

Вместо утопий эпохи Просвещения и вызовов Модерна в постреволюционной России в пору было ожидать возрождения консервативных утопий, коих сохранялась тьма тьмущая. Спрашивается, какие из них предпочёл бы «вождь», а какие — его подданные? К примеру, И.С. Проханов, председатель Союза евангельских христиан, предложил свой «город будущего»: дома, непременно окрашенные в светлые тона с фруктовыми садами, над которыми по ночам будет сиять искусственное солнце. В общем, получился некий гибрид потёмкинской деревни с аракчеевским поселением. В 1927 г. большевики едва не позволили реализовать этот проект на Алтае, однако передумали<sup>2</sup>. Это — характерный пример хаотичных семиотических экспериментов 1920-х гг.

Сталинский стиль, конечно, существовал. И он казался «большим», хотя был отчаянной попыткой приспособления символов Модерна к социокультурной архаике. В сущности, нечто подобное происходило на Руси всегда, начиная с адаптации христианства к идолопоклоннической среде обитания. А потому наивно полагать,

что «Утопия» Т. Мора может закрепиться в массовом сознании более устойчиво, нежели легенда о «возвращающемся царе-избавителе»<sup>3</sup>. Человеческий разум не может смириться с тем, что идёт вразрез его устремлениям к идеалу и соответствующим представлениям о добре и зле, и потому ищет «защитника». Так было всегда, особенно в эпоху перемен. А потому попытки представить злое насилие орудием вожденного блага следует отнести не к имманентным принципам исторического исследования, а к области идеологического очковительства, ориентированного на социально-политический мазохизм.

Но откуда идёт идея сталинской автаркии? Насколько она конструктивна? Казалось бы, всё просто: мировая революция не состоялась, пришлось обороняться от мирового империализма. Во втором очерке «Фихте, Лист, Витте, Сталин: изолированное государство, протекционизм, первоначальное социалистическое накопление, “социализм в одной стране”» наконец-то всплывает заявленная в названии книги фигура немецкого философа — в связи не только с его идеей «замкнутого торгового государства»<sup>4</sup>, но и с готовностью выработать всеобщий план развития человечества. Трудно сказать, от чего старался отгородиться Фихте: то ли от наполеоновской агрессии, то ли от разрушительных идей Французской революции. Позднее одни считали его первым германским социалистом, другие — предтечей Ф. Наумана с его «Срединной Европой», третьи — провозвестником национал-социализма. Однако всякое подобие «Срединной Европы» в советском «интернационалистском» культурно-политическом пространстве выглядело бы противостественным. Идеи Наумана ещё в годы Первой мировой войны обличали российские борцы с «немецким за-

сильем». Сталин и его идеологи вряд ли вообще знали о его существовании.

Другое дело — идеолог протекционизма Ф. Лист, поднятый на щит С.Ю. Витте, который, согласно Колерову, опираясь «на собственные силы», сумел поднять российскую экономику, избежав тем самым угрозы промышленной и торговой гегемонии Великобритании, которая исповедовала в те времена принцип «свободы торговли» (с. 132). В общем, такие орудия прогресса, как «культурный национализм и прагматический протекционизм стали инструментами национальной государственности» (с. 135). Чтобы убедить читателя, что лучшего изобрести было нельзя, Колеров приводит бесчисленные цитаты — от Маркса и его последователей до западных экономистов. И, конечно, многократно вспоминает он Струве, вслед за Витте взявшегося убеждать российских фритредеров и англоманов, что «протекционизм побеждает совершенно как более производительная система национальных экономических сил» (с. 215). Оказывается, даже сам В.И. Ленин, проживи он дольше, «вполне мог с присущей ему радикальной гибкостью сделать поворот в сторону изолированного социализма гораздо радикальнее, чем это мог и хотел сделать Сталин» (с. 238). Разумеется, мог, чего гадать — если уж из тактических соображений отказался от «военного коммунизма». Но зачем возводить протекционизм, «опору на собственные силы» и хозяйственную самодостаточность в универсальное средство?

Получается, что все мировые мыслители, начиная с Маркса, горой стояли за будущего И.В. Сталина против Л.Д. Троцкого. Достижения «вождя» вроде бы оценили и эмигрантские авторы. В частности, Г.П. Федотов обнаружил в сталинском коммунизме связь идеи протекционистского

«изолированного государства» и «социализма в одной стране» с теорией гражданской «национализации», направленной против интернационализма мировой революции (с. 309). Что поделать: разум легко соглашается с тем, чему не может (пока!) сопротивляться.

С помощью вороха цитат можно «доказать» что угодно. Отдадим должное Колерову: он не просто демонстрирует свою «учённость» (эрудицию). Длиннющие (иные свыше двух страниц) цитаты и собственные тяжеловесные рассуждения производят впечатление то ли гипнотических пассов, то ли магических заклинаний, призванных ввести читателя в сомнамбулическое состояние. Между тем всё просто. И протекционизм, и фритредерство, и даже «первоначальное социалистическое накопление» — не теоретические аксиомы, какими они выглядят у Колерова, а всего лишь подручные средства мировой хозяйственной конкуренции. Недаром сам Лист пришёл к заключению: «Покровительство лишь настолько полезно для благосостояния нации, насколько оно соответствует её промышленному развитию... всякое преувеличение в покровительстве вредно»<sup>5</sup>.

В последнем очерке «Европейские предпосылки сталинизма: индустриализм, биополитика и тотальная война» Колеров уже открыто провозглашает, что сталинизм имел чисто европейские истоки. Действительно, европейская цивилизация выросла из эпохи Просвещения с её безоглядным культом разума, закономерно выродившимся в культ силы<sup>6</sup>. В этом смысле сталинизм действительно связан с Модерном. Но как? Вовсе не как естественное его продолжение, а как продукт цивилизационного *надлома*, вылившегося в безумие Первой мировой войны, породившей локальные откаты от эпохи Просве-

щения: в России — к самодержавной традиции (при сохранении внешней преемственности с революцией), в Германии — от Веймарской системы к нацизму. Кстати, внешнее сходство между сталинизмом и гитлеризмом ведёт к ложным «тоталитаристским» обобщениям. На деле первый упорно прикрывался демократическими симулякрами, второй, напротив, демонстративно откровенничал от них, взывая к почве и крови.

Между тем Колеров восторгается тем, что Сталин «актуализировал план, систему и структуру интеллектуального консенсуса в русской государственной мысли» (с. 346). Зная заземлённый образ мысли деспота, над столь смелым заявлением остаётся только посмеяться. Не стоит ставить его в один ряд с европейскими философами. Иначе покажется, что Сталин вообще не знал о репрессивных практиках российского патернализма. Его действия определяла отнюдь не повторённая Колеровым вслед за М. Фуко тенденция превращения «дисциплинарного общества» в «биовласть» (с. 394—395). Увы, доморошенная «политическая» культура, в колее которой действовал «вождь»<sup>7</sup>, сама по себе базировалась на биологических, точнее биопсихических, т.е. дополитических или *протополитических* основах. К чему в объяснении этого современные излишества?

Книга Колерова — очередное обоснование автаркии как традиционно «спасительного» — стабилизирующего — российского состояния. В этом Сталин как будто следовал за Фихте. Но видимое сходство не есть принципиальное соответствие и внутреннее подобие. Немец, между прочим, писал о «мертвящем духе зарубежья», дурно влияющим даже на научные воззрения соотечественников<sup>8</sup>. А «вождь», стремясь к «модерности», напротив, копировал технологические достижения своих противников.

Идею «социализма в одной, от-дельно взятой стране» следовало бы связать с практикой «военного коммунизма». Кстати, стоит заметить, что первые попытки отойти от крайностей последнего предпринял Троцкий, которого Колеров обличает с усердием, достойным злопамятного «вождя». Троцкий (почти по Листу) понимал, что «социализм в одной стране» возможен только при условии её технологического превосходства над окружением. Однако Россия оставалась страной не только «нетехнологичной», но и тяготеющей к хозяйственному застою<sup>9</sup>. Стоило бы также вспомнить, что именно Троцкий упорно боролся против бюрократического перерождения большевистской власти, которая, в конечном счёте, блокировала всякую инновационность. Однако Колеров представляет дело так, будто Сталин упорно штудировал мыслителей прошлого ради обоснования «мудрой» автаркистской политики. Хотя на деле он предпочитал штудировать учебники рабфаковского уровня.

Несомненно, *внешний* язык сталинской эпохи могли определять постулаты и фантазии европейского Модерна. Все утопии экзистенциально схожи, как и положено порождениям отвлечённого воображения. Вместе с тем известно, что всякая страна обладает склонностью к характерным девиациям от общей линии исторического развития, которые обусловлены особенностями культуры. Сталинизм показал, что в России отклонения от «нормы» могут быть непредсказуемо велики. И, конечно, contagiозный эффект модерности не мог не напомнить о себе даже в условиях архаичной деспотии. Последняя попросту паразитировала на идее прогресса<sup>10</sup>.

Касаясь взаимоотношения эпохи Просвещения и сталинизма, Колеров намеренно упрощает проблему: «Индустриальные и социальные инстру-

менты капитализма по социализации экономики и населения большевизм превращал в философию революции, стремясь утопию Просвещения надстроить утопией Коммунизма» (с. 388). Звучит возвышенно, но бессодержательно. Автор словно не ведает, что между эпохой Просвещения и большевизмом пролегла Первая мировая война, перевернувшая человеческое воображение. Интроверсии и перверсии утопий — явление историческое, а не очередные фантазии философов уму.

Всё же кое в чём с автором можно согласиться. Так, критикуя подходы последователей Х. Арендт, он подчёркивает, что «сталинизм до сих пор более всего изучается в интеллектуальной резервации, в парадигме либеральной идеологической критики» (с. 322). Однако попытка самого Колерова выбраться из сей «вредоносной» парадигмы через некие «геоэкономические» императивы выглядит умозрительно-претенциозной. Отсюда стандартное пропагандистское утверждение: «Сталинизм в его эпохе был, как минимум, одним из выработанных в Европе примеров восстания тотального индустриализма против отсталости, а сталинизм в России, как минимум, — кровавым спасением России и её народов от полного уничтожения во Второй мировой войне» (с. 421). Конечно, сталинизм не стоит сводить к политико-идеологическому нарративу. В любом случае его следует изучать, прежде всего, *изнутри*, как явление эндогенного характера, признавая собственную, российскую культурно-антропологическую ответственность за сей отнюдь не случайный феномен (что делается у нас явно недостаточно и весьма неуверенно). И только после этого сталинизм из inferнального пугала для одних и предмета имперской ностальгии для других превратится в навсегда преодо-лённый эпизод *своей* истории.

Строго говоря, подход Колерова традиционен. Русская интеллигенция добрых два столетия рвалась в европейский Модерн и, не найдя пути, переключилась на поиск всевозможных врагов России. Колеров «оригинален» лишь в том, что в поисках «бесов» пытается заглянуть непривычно далеко вглубь истории, добавляя к надоевшему сонму привычных врагов «отталкивающее» европейское прошлое. Это тот случай, когда хочется вспомнить классика: «Скучно жить на этом свете, господа!» Книга Колерова удручает именно тем, что подлинный язык сталинизма он проглядел. Вместо обещанного анализа мы находим подборку текстов. Демонстрируемая эрудиция перерастает в схоластическое занудство, которое парадоксальным образом соседствует с подобием интеллектуальной истерии, вызванной нежеланием западных авторов реабилитировать сталинизм.

На протяжении книги автор преследует, в сущности, одну цель: показать, что сталинский коммунизм был построен на вневременных рационалистических основаниях. Вероятно, «вождю» действительно хотелось быть «рациональным». Однако самообольщение разума однажды ввергло Европу в самоубийственную войну, а много позднее некий Пол Пот, подучившись марксизму во Франции, предпринял попытку уничтожения «недостойной» части своего народа. Многозначительную переключку идей времён большого транзита следовало бы начать с подобных сопоставлений, а не с попыток приписать античеловечным практикам высокие мотивы.

Увы, человеческая мысль не только самонадеянна, но и блудлива. Она неслучайно поворачивается спиной к подлинной истории народа. Колерову социальная история с её непременной герменевтикой не нужна. Иным авторам хочется предстать «большими»

через «героев» прошлого — такова природа болезненного провинциализма сознания, претендующего на возвышенную интеллектуальность. Чем это может обернуться? В данном случае налицо словесная трясина, в которой тонет обессилевшая ксенофобией авторская мысль.

Как и почему могла появиться такая странная книга? Дело в том, что некогда Колеров защитил диссертацию, посвящённую П.Б. Струве. Фигура одного из первых российских марксистов, в 24-летнем возрасте призвавшего, вопреки господствующим народническим настроениям, «признать нашу некультурность и пойти на выучку к капитализму», а позднее ставшего идеалистом, «веховцем» и правым либералом<sup>11</sup>, к тому же поднятого на щит Р. Пайпсом<sup>12</sup>, настолько впечатлила Колерова, что он сделался его настоящим *alter ego*. Случается и такое! Впрочем, автор признаёт, что своей системы Струве не создал, а после его «марксистских» успехов последовала серия неудач. Добавим: и не мог создать — для этого он, при своих несомненных талантах, был слишком эмоционален: то восхвалял грядущую трезвость (1914), то бессильно проклинал большевизм, названный смесью марксизма с русской сивухой (1917), то прославлял Февраль, то признавался в былой «глупости». А столь обильно цитируемую Колеровым книгу «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России» современники оценили как «плод плохо переваренной эрудиции».

Колеров считает, что по степени влияния на современников и последующее поколение русской общественной мысли Струве можно сравнить с В. Соловьёвым<sup>13</sup>. Увы, этого незаметно: первый не запомнился ни как экономист, ни как социолог, ни, тем более, как философ. О значении

его как историка и говорить не приходится. Тем не менее автор словно ощущает себя его душеприказчиком. Кстати, осуществляемые им публикации работ соратников и последователей Струве весьма полезны с конкретно-исследовательской точки зрения. Но стоило ли при этом, цитируя Энгельса в передаче его русского ученика, намекать, что «роль личности в истории не имеет никакого самостоятельного значения»<sup>14</sup>? Это просто не соответствует современному уровню развития исторической мысли.

Исследователь так или иначе выводит прошлое из нынешнего общественного, а то и политического состояния. Это аксиома. Но справедливо и другое: подлинное понимание прошлого связано с преодолением идеологического нажима современности. Это и так удаётся немногим. Колеров действует прямо противоположным образом. Отсюда стремление замылить существо вопроса бесконечными ссылками на «авторитеты». Попутно отвергаются авторы, якобы не желающие «увидеть предмет в том горизонте (“единственно верном”? — В.Б.), в котором он действительно существовал» (с. 421). Может и так — российская историография, сама того не сознавая, привыкла апеллировать к эмоциям.

Действует и ещё один фактор. Колеров — не только исследователь и последователь Струве. Он — действительный государственный советник 1-го класса, т.е. заметный бюрократ, работающий с оглядкой на власть держащих. Нынешняя власть остро нуждается в «понятном» советском прошлом, а равно и в его неуходящих «врагах». Отсюда — сия мудрёная книга. Сказались и принципиальный («веховский») конформизм автора, и слабость его философского воображения. Под видом изучения «языка сталинизма» он взялся представить

такого «вождя», призрак которого не вызывал бы «ненужных» ассоциаций, аллюзий и опасений. Разговоры *pro et contra* сталинизма всем надоели.

В почитании Сталина есть что-то неистребимо холуйское. Великий образ нужен слабым, несамостоятельным существам, тщетно пытающимся романтизировать своё зависимое существование, выдавая его за «служилое». В случае с Колеровым к этому, вероятно, добавилось чем-то обиженное самомнение. Отсюда результат: хотел продемонстрировать постмодернистскую раскованность вкупе с историософской глубиной, а получилось — дилетантское занудство.

К собственно просталинским очеркам в книге добавлены «экскурсы»: «Историческая семантика “Отечественной войны”»: между общенациональным и этническим/партийным (1812—1914—1918—1941)»; «Этничность как инструмент: Литва в фокусе демографической борьбы XIX—XX вв.»; «Измерение массовых репрессий и “новый курс” Л.П. Берии в Советской Прибалтике». Всякая всячина! Колеров не упускает случая взобраться на котурны энциклопедиста. При этом во вкрадчивой апологетике сталинизма находится, наконец, место и «рационалисту» Берии.

Возможно, не стоило бы уделять данной книге внимание. В конце концов, если это история, то только история идеологических вывертов. Однако без их разбора трудно рассчитывать на выживание истории как науки.

## Примечания

<sup>1</sup> См.: Булдаков В.П. От постреволюционного хаоса к сталинской диктатуре // Уроки Октября и практики советской системы. М., 2018. С. 156—166.

<sup>2</sup> Булдаков В.П. Утопия, агрессия, власть. Психосоциальная динамика постреволюционного времени, 1920—1930 гг. М., 2010. С. 52.

<sup>3</sup> См.: Чистов К.В. Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд). СПб., 2003.

<sup>4</sup> См.: Фихте И.Г. Замкнутое торговое государство. Философский проект, служащий дополнением к науке о праве и попыткой построения грядущей политики. М., 2010.

<sup>5</sup> Лист Ф. Национальная система политической экономики. М., 2005. С. 255—256.

<sup>6</sup> Булдаков В.П. Революция и самообольщение прогрессом // Великая российская революция: общество, человек, культура, повседневность. Т. 1. М., 2017. С. 7—22.

<sup>7</sup> См.: Илизаров Б.С. Сталин, Иван Грозный и другие. М., 2019.

<sup>8</sup> Фихте И.Г. Речи к немецкой нации. СПб., 2009. С. 177.

<sup>9</sup> Булдаков В.П. Модернизация и Россия. Между прогрессом и застоём? // Вопросы философии. 2015. № 12. С. 15—26.

<sup>10</sup> Королёв С.А. Псевдоморфоза как тип

развития: случай России // Философия и культура. 2009. № 6. С. 72—85.

<sup>11</sup> Булдаков В.П. Вторжение марксизма в Россию: акт первый // Леонид Михайлович Иванов. Личность и научное наследие историка. Сборник статей к 100-летию со дня рождения. М., 2009. С. 182—200; Булдаков В.П. Русская революция: утопия, память, наука // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2017. № 1. С. 61—76.

<sup>12</sup> Pipes R. Struve: liberal on the left. Cambridge (MA); L., 1970; Pipes R. Struve: liberal on the right. Cambridge (MA); L., 1980.

<sup>13</sup> Колеров М. Предисловие // Струве П.Б. Избранные сочинения. М., 1999. С. 3—5.

<sup>14</sup> Струве П.Б. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. М., 2015. С. 60.

Владислав Голдин

## История ГУПВИ на Европейском Севере СССР\*

Vladislav Goldin

(Northern (Arctic) Federal University, Arkhangelsk, Russia)

## History of GUPVI in the European North of the USSR

DOI: 10.31857/S086956870005110-2

В серии «История сталинизма» вышла в свет книга вологодского историка, доктора исторических наук А.Л. Кузьминых, известного в нашей стране и за рубежом исследователя системы военного плена и интернирования в СССР в годы Второй мировой войны<sup>1</sup>.

В тот период в стране было свыше 5 млн военнопленных и интернированных (более 60 национальностей)<sup>2</sup>. Эти иностранные граждане находились в ведении Главного управления по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ) НКВД—МВД СССР. Термины «ГУПВИ» и «архипелаг ГУПВИ» пока ещё не получили столь широкую известность и распространение в исторической науке, как например, понятие «архипелаг ГУЛАГ». Сложившаяся в досоветский период традиция ис-

пользования Севера как места каторги и ссылки получила новое развитие в условиях Советской России/СССР. Истории ГУЛАГа в этом регионе посвящено немало исследований<sup>3</sup>, чего нельзя сказать об архипелаге ГУПВИ. Поэтому актуальным является изучение темы, посвящённой иностранным военнопленным на Европейском Севере СССР (в Архангельской и Вологодской областях), где в рассматриваемый период находились 16 лагерей и 10 спецгоспиталей.

Автор определяет цель написания монографии как воссоздание полномасштабной истории пребывания на советском Европейском Севере иностранных военнопленных в годы Второй мировой войны. При этом Кузьминых обращается не только к общесоюзным архивным материалам (как

\* Кузьминых А.Л. Архипелаг ГУПВИ на Европейском Севере СССР (1939—1949 гг.). М.: Политическая энциклопедия, 2017. 591 с.